

Литрес ≡ Классика

Иван Шмелев

ГРАЖДАНИН УКЛЕЙКИН



Иван Сергеевич Шмелев

Гражданин Уклеikin

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74094852

Гражданин Уклеikin / Иван Сергеевич Шмелев: Литрес Классика;

Москва; 2026

Аннотация

Повесть Ивана Шмелёва «Гражданин Уклеikin» (1908) продолжает традиционную для русской литературы тему «маленького человека» в новых исторических условиях начала XX века. Её главный герой – полуниний сапожник, который пытается забыться в пьянстве, заглушая тоску и чувство безысходности. Однако под влиянием перемен в обществе в нём пробуждается чувство собственного достоинства, заставляющее по-новому взглянуть на свою жизнь и на мир вокруг.

Содержание

I	5
II	14
III	21
IV	27
V	32
VI	37
VII	41
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Иван Сергеевич Шмелев
Гражданин Укле́йкин

ЛитРес

библиотека

© «Литрес», 2026

I



– Укле́йкин идет! Укле́йкин идет!..

Мальчишки бросали бабки, собирали змеи и бежали на

улицу. Полицейский, кидавший в рот семечки у окна прачешной, выдвигался на мостовую. В самоварном заведении Косорылова стихал лязг, и чумазы медники высыпали к воротам. Портнихи вытягивались из окон, роняя горшки герани.

– Идет!.. Твердо идет нонеча.

Головы поворачиваются к посту.

– Ладушкин дежурит...

– А што твой Ладушкин!.. Махнет проулком... Как на медни в одной опорке-то стеганул!..

– Ужли не прорвется, а?

– Сурьезный штой-то...

Всем хочется, чтобы Уклейкин прорвался на Золотую улицу, в публику. За ним ринутся, и будет скандал.

Уклейкин начнет откалывать, прохватывать и печатать, начиная с головы и кончая подчаском. Пока захватят и погрузят на извозчика, он высыплет много кое-чего, о чем не говорят

громко, а разносят из дома в дом так, что сейчас же узнают на задворках; что казалось забытым и вдруг всплывает; что было даже одобрено про себя, но чего в открытую еще стыдятся; что шмыгнуло мимо портфелей следователя и прокурора, ловко избегло удара печатного станка и вдруг непонятным путем встряхнулось в помраченных мозгах и гулко выкатилось на улицу из сиплой глотки полупьяного сапожника.

– Чего глядите-то?.. Уклейкин, что ли-ча, идет? – спра-

шивают сверху портнихи.

– Мчит! Спускайтесь, Танечка!

– А ну вас... Нам и здесь хорошо.

– Им не годится середь публики в открытом виде.

– Варька-то, Варька-то расползлась! ровно как мягкая...

– Со щиколладу. Ее кажинный вечер мухинский конторщик щиколладом удовлетворяет.

Уклейкин идет решительно, высоко подымая тощие, узловатые ноги, словно выдергивает их из мостовой. Как гремучая змея хвостом, шмурыгает он опорками, подтягивая на ходу остатки порванных штанов. Испитое, зеленоватое лицо сосредоточенно-мрачно, а глаза водянисты и тусклы. Он уже потерял картуз и следит за опорками. Мальчишки веселым роем кружат и жалят.

– Жулье!.. шкалики!..

Он выдирает слова из нутра, и они падают толчками, как маленькие частые пули. Худая рука поднята и грозит пальцем, а глаза видят какую-то никому не ведомую точку.

– Уклейкину почет-уважение! Отошел?.. Клади им!..

– Предались!.. Шпана!.. Дар-рмояд!

– Сыпь! Жарь! Качай их! Во-от!..

Толпа подвигается вместе с Уклейкиным к посту.

– Достигну!.. Сыщу!.. Што?.. Душ-ши!.. Брюшники!.. Манжетники, черти!.. Што-о? Пропущай!

Полицейский стоит, расставив руки, и следит за Уклейкиным, словно играет в коршуны.

– Ты лутче не шкандаль. Гуляй себе и не шкандаль!

– Пропущай!.. Слово хочу!

– Нет тебе ходу дальше!

– В-вы... так што... полицейский? Рази я допускаю, што...

Уклейки таращит остеклевшие глаза, пытается говорить отчетливо и казаться вежливым и трезвым, и голос его играет.

– Та-ак... А п-позвольте вас спросить... Вы... госпо-дин полицейский? Пр-равильно я говорю?.. Хо-рош-шо... Вы тут постановлены... для чего? Для пор-рядков? Хо-рро-шо-о. Для порядков вы тут постановлены? Вас тут установили? Та-ак... А вы, какое такое правило, што вы... не хотите никого пропускать?.. А? Ежели я житель... и все такое... Могу я гулять по воздуху... и при публике, а? Могу я выражать, штобы...

– Вот тебе публика, и гуляй!

– А я в разные стороны хочу. Вить я житель... и все жители... А мне публику надо... пу-бли-ку!.. Шпана! Шкалики!.. Слово хочу сказать. Пропущай!

И он выпячивает грудь, накрытую затертым фартуком.

– Раз ты намерен безобразить, я чичас тебя...

– За-чем, безобразий нет... Вы не пропускаете жителей... и я... А позвольте вас спросить: тебе кто жалованье платит, а? Не-ет, ты не заслоняй... Я вот неграмотный и ничего не знаю, а вы знаете все законы... и хочу вас спросить... Вы не желаете сказать? Та-ак, хор-ро-шо. А ежели я городской

голове слово хочу сказать. Ж-жулик! Всех жителей обокрал! Шкалик!..

– В-во-от чисти-ит!.. Н-ну-у...

– В Сибирь его!

– Ты не безобразь! За такие слова тебя...

– Поволокешь? Н-на-а!.. Я го-спо-ди-ну... приставу слово хочу сказать.

– Ты до начальства не прикасайся... Ты не...

– Трешник слопал! В сапогах ходить любит... Где такое правило? Предались!

– Правильно! Он вить хочь пьян, а понимает.

– Дак ты што ж это?..

Полицейский колеблется, – взять или допустить. Но народ все свой.

– Не тревожь его, господин полицейский... пусть его!..

– Уклеikin, стих скажи! Здорово у него слажено... Вон и барышни желают.

Уклеikin оглядывается на окна. Розовые лица молоденьких портних задорно смеются.

– У-ух ты! Мамзели! Веселые барышни!.. Не намните грудки, оставьте маненько для Мишутки!..

– Ах шут эдакой, загнул!..

Взвизгивают сочные молодые голоса. Смеются все, даже полицейский. Уклеikin переменил тон, а это обещает зрелище захватывающее.

– Эх, подобью каблучки-набойки, ходи с угла до помойки!

Веселым гулом отзывается всегда сонный переулок. При-
сажают, хлопают Уклейкина по – Уважь еще, Уклейкин!..
Про комариков-то... Вот продернет!..
– Стой!

И-эх и блошки мои, комарики,
Не горят наши фонарики!! А отчево?
То-то! Оттово, што городская управа
Тащит налево и направо...

– Ну, пропускай!.. Правду хочу изложить.
– Нальют тебе, брат, за правду.
– А мы выльем!

И-эх и каблучки мои подметки!
И охотник я до водки!
Пью портейн я и мадер
И шинпанскую партер!

– И набирает, шут его возьми...
– Пропускай! Тебе говорят!
– Уклейкин, про полицию вали!

– Про пристава! Гы-гы-гы... Гладко у его про пристава...
Да не бойсь!

– Боюсь? Я?! Супротив хочь кого!

Полицейский тревожится, – можно ли. Но он не слышал
еще про пристава.

– Здесь можешь все, а туда не допущено.
– Прорвусь!..
– Не прорвешься.
– Достигну! Я их во как изуважу!.. Жулье!
– Ну-ка, про несчастного-то... Вклей!..
– Л-ладно... Я ему пропою... ширококрылому черту... Да-
вай его сюды!.. Н-ну!..

Уж и Иванов... наш пристав частный...
Ужась человек несчастный!
Страсть!..

– Во-во... как сейчас резанет... Ну-ка!

Ни попить ему, ни съесть, —
Все бы как в карман залезть...

– А то в морду слазить... Он ма-астер...

И чистит зубы ломовым,
Однако часто... и городовым!

Уклеякин шуриг глаз и делает пояснительный жест.

– Ну, уж это ты... Ломовым это так, а...

Полицейский не совсем доволен.

– А Митреву-то? – возражает медник.

– Ну, дак это на пожаре... Дело горячее...

Полицейский кладет на плечо Уклейкину руку и говорит примирительно:

– Ну, вот што, Уклеикин... ступай ты теперь к Матрене и не шкандадь.

– Ты меня Матреной? Ма-тре-на!.. Тьфу!

Шкура! Понимаю я себя ай нет? Пропущай! На публику хочу!.. Н-ну!

– Не лезь, нельзя.

– Пущай! Я житель... житель я ай нет? Не можешь меня... Пу-усти!

Уклеикин напирает лицо к лицу, выпячивает грудь и откидывает голову.

– Што ж не пропускаешь-то его, в самделе... Дай ему душу-то отвести... Может он гулять-то!

– Расходись, ежели безобразить!.. Не скопляйси! Боле как троим не приказано... Н-ну-у!

А из-за толпы уже подобралась рослая, румяная баба и перехватывает Уклеикина за пиджак.

– Шкилет ты окаянный, а! Долго мытарить-то ты меня будешь, гнида ты несчастная, а?

Уклеикин сразу вянет, заслоняется рукой и бормочет:

– Не трожь... Сам, сам пойду... Ты не...

– У, несыть, кабашник! Ишь дармоеды, го-го-го! Лупоносы!

Она тащит Уклеикина за плечо, тычет в спину, и он идет толчками, откидываясь назад и на ходу вскакивая в опорки.

– Дай ей леща! Опоркой-то по башке! Э, зеваный черт!

Все еще не расходятся: сочувствуют Уклейкину и ругают Матрену.

– На меня б ее, печенки бы заиграли! – говорит кузнец.

– Уж и намылит она его, нашкипидарит!.. Чичас он еще в чувстве, а вот когда врасстяжку, уж и лупит она его!.. Полсапожками по грудям, куда влезет.

– Баба могучая, д-д-а-а...

– Прямо клей! Все соки из его выбрала... Вот какая баба – груда!

– У ей крови много... путаная. С отцом дьяконом допрежь она все... Да вот у Власия-то на Стрижах, кудластый-то был... Стирала она у него, а он...

– М-да-а... Баба невредная...

– Хи-хи-хи! – заливались портнихи.

– А вы не слушайте, мы тут про деликатное толкуем.

– А мы и не знаем.

– А не знаете, так спускайтесь вечерком, узнаете...

Застучали медники. Застрочили машинки. Ударили к вечерам.

II

Когда случалось, в запой, попасть на Золотую улицу, Уклеякин первым делом направлялся к дому городского головы.

– Ага! Городская голова! Л-ловко! В три этажа загнул... Чи-исто!.. С миру по нитке – голому рубаха.

Мчался, брызгая грязью, рысак с окаменелым чудом на передке, и Уклеякин раскланивался вслед.

– Благодетели гуляют... От-лич-но!

Перед колоннадой депутатского собрания он брал картуз в обе руки, прижимал к груди и поднимал глаза к небу.

– «Дом бла-а-род-но-го дво-рян-ства»! Та-ак. Храм! Шапочку, господин, сымите.

...Отцы вы наши и родители,
Дворянские производители!..

Хохотала извозчичья биржа, а бульварчиком подкрадывался полицейский.

Участок Уклеякин обходил стороной, усаживался на уголке на тумбочку и говорил выразительно:

– Правительственный си-нод!.. Не подходи близко... Жулье!

Его тянуло сюда, как бабочку огонь, как поднятого зайца

последнее логовище.

– Ежели ты у меня ешшо...

И Уклейкин летел с тумбочки, теряя опорки.

– Вдарь! Н-ну... еще! Тир-рань! М-можешь!... И снова падал.

Одно время хотели даже выслать его из города, но вице-губернатор сказал:

– Оставьте. Скажут – деморализация власти. Приказать строго-настрого полиции не пускать его в общественные места в нетрезвом состоянии... Вот!

С тех пор Уклейкина перехватывали на перекрестках.

– Жулье!.. Шкалики!.. Шпана!..

Скромная тишина летнего вечера, упоенного отзвуками военного оркестра, нарушена, и тревожно вздрагивает самоуверенная труба, теряя такт. И обыватели уже оторвали взоры от молодецкой фигуры красноногого усача-капельмейстера.

– Уклейкина гонят!

– Где, где гонят?

– Да вон, к палате побежал. Вон стегает-то!

– Споткнулся.

– И вовсе не споткнулся... Это он за опоркой.

– Нет, перехватили.

Но труба уже отыскала потерянный такт, снова гремит ободряющий марш «Под двуглавым орлом», и граждане снова чихают в шелесте шелковых юбок.

– И с чего это в нем? – рассуждали иногда в переулке.

– С чего... Белый он! – говорил кузнец.

– То есть как белый?

– Известно как... вроде горячки.

– Зуда в нем такая есть, – пояснял церковный сторож. –

Которая зуда... зудит она. Одначе, и выходит, ежели теперь...

– Какая, к черту, зуда! Просто дух такой, который...

– Ду-ух... Винный!..

– Там какой ни есть. Такой он, что ль, был? Не помню я его?

Да, когда-то Уклеikin был знаток песни и балалайки, балагур и форсун, старательно расчесывал вихры медным гребешком и начищал скрипучие сапоги до жару. Носил строченую косоворотку, по праздникам сморкался в красный платок и заходил в парикмахерскую «подровняться».

Когда-то – давно это было, да и было ли? – тихими весенними вечерами, на лавочке у ворот, точно лопались вдруг струны взбешенной балалайки, затуманившиеся глаза заглядывали в глубокое, звездами осыпанное небо, и тихий, родившийся в душе вздох терялся в дребезжанье извозчичьей пролетки.

Это было давно. А может быть, и не было этого.

Не было ни старого полицеймейстерского сада, белой черемухи, сыпавшей в лунные ночи летним снегом, ни скрипучего оконца в сенях, где, затаившись в тени стен, робко

оплакивала себя молоденькая полицеймейстерская нянька под неудержимо-раскатистые перехваты «барыни». А с неба тянулась вешняя, любовная грусть.

– Митюш, ты?

Славная пора, короткая, как июньская ночь.

Рядом с садом полицеймейстера жил Уклеikin. Как-то по весне затрепетала веселая балалайка у ворот, под скрипучим оконцем, выплыло белое лицо в черном пролете окна, и обнаженная рука подперла простоволосую девичью голову.

– Хорошо перебираете.

– Матреша?.. Здрасьте-с... Ежели желательно, могу бойчей.

– Ужли?

– Убеждайтесь!

И балалайка задрожала, ринулась:

И-эх и барыня-барыня,

И-эх и распробарыня,

Ды-по трахтирам не ходи,

Ды-в карман ручки не клади,

Ко мне глазом не мигай...

– Вот как мы!.. Как понимаете?

– Антиресно.

– Да уж... А вы спускайтесь к музыке, и будет антирес. И карамеличков можно прихватить.

Матреша спустилась, поглядывая на темные господские

окна.

– Усач-то ваш дома? Рыжий-то?

– Ну его к ляду, уехавши...

– Сказывали, до вас он охоч...

– Н-нету... ничего...

– А сказывали, будто. Брехня, может!..

– Раз только в коридоре потискал, пес этакой...

– А вы ему в харю плюньте. Плюньте ему в харю, рыжему черту.

Вечер провели в саду, под черемухой, где балалайка выдывала потрясающие трели.

– Ежели б вы только могли сообразить... во внимание, как...

– А вы штой-то это... вы не лазьте куда не следует...

– Это куды ж? Ужли уж вы мне не поверите? Ужли я такой черт, что... Раз вы сумлевааетесь в качестве меня... вот мой для вас сказ. Давно я вас примечаю и балалайку завел на предмет вам... И-эх, Матр-реша!

Вздох.

– Дух от черемухи тяжкий... Голову разломило.

– Д-да... проникает... Матреша! Что я вам...

– Чего вы руки-то... Вздох.

– А-ах, Матреша!.. Нет у меня никого, окромя вас. Племени-роду своего не знаю, ни родителей.

– Вы что ж, из шпитательного?

– Прямо из-под забора. Только, конечно, я все едино как

настоящий... Матреша, жалованья получаю я двенадцать целковых! Могу и больше, конечно, как ботинщик я... и французские, тонкие каблучки могу... И ежели что, случаем говоря... не отопрусь. А вы глазки не тревожьте... и вот что я вам скажу: приходите опослезавтра в «Дубки».

– Ежели отпустят...

– И ежели не отпустят, все равно. И что вы себя беспокоите?

– Тошно мне у его... Ночью все ломится...

– Н-ну, раз вы себя в порядке... и соблюдаете... Матреша!

Со звоном стукнулась о черемуху балалайка и стихла. Неслышно посыпались лепестки теплым снегом. Красноватый месяц глянул из-за забора и стал выбираться выше.

А через две недели Уклеikin получил Матрешу, серию с отрезанным до срока купоном, серебряную ложечку и кулич с солонкой; получил и постоянного славного заказчика, господина полицеймейстера, и поселился в полуподвальном помещении живоглота Ухалова, при собственном деле.

А через шесть месяцев получил и рыжеволосого Мишутку.

Но это было давно, лет десять назад. А теперь в городе не осталось ни полицеймейстера, перешедшего в мир светлый прямо из загородного ресторана, ни Матрешы, ни балалайки, ни веселого ботинщика. Остались Матрена и запойный сапожник Уклеikin. И не было майских разговоров под че-

ремухой.

Другие были разговоры.

III

Жил Уклеikin в квартирке за восемь рублей, жил десять лет и десять лет клял жизнь, называл ее проклятушей и чертовой и в часы гнетущей, наваливавшейся неизвестно с чего тоски мысленно порывался уйти куда-то. Куда? Ну, этого он не знал. Так, уйти. И не видать ничего ни впереди, ни позади. Но что же нужно было видеть? И этого он также не знал. Есть что-то такое хорошее, и, если бы было оно, не было бы той непереносной тоски, когда глаза неподвижно, без думы, уставляются в угол, отворачиваются от мутного неба, зачем-то маячащего за окном. Сколько ни сиди на липке – одно и то же, одно и то же.

Солнце бросает какие-то мутные пятна на стены. В углах нарастает плесень.

Приобрели сберегательную книжку, положили когда-то двадцать рублей и порадовались. Нашел как-то Уклеikin на площади кошелек с семью рублями – и опять порадовались и отнесли на книжку. А теперь и книжки нет. Справили Мишутке полушубок, взяли последний трешник, чиновник пощелкал на счетах, сказал, что все выбрано, и оставил книжку у себя.

Все год от году дорожает, и все точно уговорились и накидывают. А последнее время прямо без милосердия. Самый линючий ситчик, что по девяти отдавали, теперь и по две-

надцати не найти; спички, сахар, керосин, даже хлеб – все дорожает. Сколько ни тыкай шилом, сколько ни выкраивай резакон – ничего. Петля кака-то, а не жизнь. И не видать ничего.

А кругом дома так и прут к небу, а дворник угрожает:

– С первого штобы девять, велел.

– Жиды, черти!

– А ты сам накидывай... Теперь все...

– Накинешь на вас, чертей!

А жизнь бежит себе и бежит. И как-то умеют изворачиваться и вылезают. Вон пекарь, еще недавно Куцым звали, подольстился к хозяйке и надел «спиджак» и булочную открывать собирается. В окнах горят веселые огни, вывески новые поделали, под бархат.

По праздникам приказчики хорьковые шубы надевать стали и в белых ботиках щеголяют. Веселые, нарядные дамы папироски покуривают на тротуарах. И все откуда-то деньги добывают и на извозчиках катаются. И откуда ни услышишь – везде жульничество, везде норовят, как бы оплести. Только этим и живут.

Купчишка Ухалов с живого и с мертвого дерет, под проценты дает, до десятка домов в городе, с железной дороги краденое скупает, ходит к заутреням, а как сын в Нижний на ярмарку – к Троице с глазастой невесткой закатывается. Уж на что староста церковный, Папушкин, а взял да и спалил дом с лавками, премию получил и никому ни гроша не

заплатил. И не докопаешься.

Городской голова все подряды в руки зацапал, на городские деньги торговлю оборачивает, двух портних у заставы держит, девчонку-малолетку за красоту из приюта взял, а она и повесилась. И никто никакого внимания, и все кланяются, и все на тройку его с серебряным набором дивятся, и с праздниками поздравляют, и в гости ездят.

Пристав за полцены сапоги требует, да чтобы на французской подошве, да чтобы замшевые, с лаковыми голенищами, и еще мошенником называет, а отказать нельзя. И точно никто за человека не считает, и к месту не притулишься: запойный, говорят. А случится на кухне у заказчика дожидаться, глаз не спускают, как бы серебряные ложечки не прихватил. А сами отовсюду хапают.

А Матрена... Теперь-то уж она вся объявилась. Навязал себе на шею: ни одного-то дня не пройдет, чтобы поедом не ела. С самого утра точить начинает. Лучше бы было в ботинщиках жить. Как праздник, сейчас бы на бульвар, музыка полковая.

– Кавалер, угостите папироской!

Точно не человек, право. Что ж, что мастеровой? Вон Матрена прямо простая девка

была, а сам полицеймейстер не погнушался. Голое-то – оно все тело. А Мишутка... Э, да что говорить... Прямо ничего не видать...

Вобрав впалую грудь и подняв острые плечи, с ожесточе-

нием протыкал Уклеikin мертвую кожу, протаскивал дра-
ту, точно затягивал петлю.

– Сволочи... Прямо с-сволочи!

Тоска...

Иногда, бросив работу, неподвижно уставлялся он на за-
пыленное оконце, как будто видел там что-то или хотел ви-
деть.

Уйти куда из ямы этой... В деревню куда-нибудь. Или бы
в лес, чтобы неба не было видно, чтобы ни пути, ни дороги...
Жить бы в избе, с Мишкой... птиц ловить. Матрена бы по-
мерла... И чтобы никто его не видал и он бы никого не ви-
дал... И чтобы никого не было... Лес бы все, лес...

– Вон у медничихи-то салоп новый... лисой подбит... Как
люди-то живут! Тук-тук-тук.

– Связало меня с лешим... Платчишка и того нет!

– Завыла, – шипящим голосом отзывался Уклеikin. –
Молчи уж!

– Ничего не видамши, сколько годов прожимши... ни кус-
ка съесть, ни...

– Трави... трави!..

– Городовиха-то вон... шелковый платок намедни принес
ей... А от тебя, лысого беса, не...

– А вот украду скоро. У, чертова баба! Грызи, грызи...

– Водки бы поменьше лопал!

– Поменьше бы путалась... Уж молчи, все знаю... все твои
потрохи знаю.

– Што знаешь-то, што?

– Сресаля, вот что!

– Пьяница!

– С тебя и пить-то зачал!

– С себя зачал!.. Серию тебе принесла.

– С Мишкой.

Когда-то эта обида горела и жгла. Теперь только чадила.

– На бульваре тебе место... путаная.

– Все лучше, ничем шкилет такой. Разве ты му-уж?

– У-у-у!..

Он сжимал резак, стискивал зубы и скрипел. В эти минуты ему страстно хотелось пырнуть ее в толстый живот и вертеть, вертеть там. И стало бы легче. Но что-то сдерживало. Быть может, сознание, что Матрена не боится его, что она сильнее его, а он слабый, совсем никудышный человек. И подымалась злоба на все. И ведь все понимают о нем так, как Матрена. Подрастет Мишка и будет говорить так же, как и Матрена. И некуда уйти, и ничего изменить нельзя. И опять соблазнительная, мучающая мысль приходила, и позывающие вздрагивали руки. Вот взять резак, подкрасться ночью к Матрене и полоснуть ее по белой шее... И все переменится. И уже трудно было усидеть на липке, охватывала зудящая дрожь, и нужно было уйти, скорее уйти, погасить страшный позыв, не дающий покоя, бежать, кричать и жаловаться. Бежать на народ.

Да была ли когда белая черемуха?

Когда-то он видел сон. И не снится больше.

Маленькую комнатку за переборкой сдавали внаймы, но жильцы не уживались, платили плохо, да и неподходящие вовсе были жильцы. Долше всех жил слесарь с железной дороги, гармонист, угощавший хозяина водкой, а Матрену орешками. Когда в уснувшей затхлой квартирке бродили пьяные тени, тощая фигура хрипела под лоскутным одеялом – совсем неосторожно скрипела дверь в комнатку за переборкой и голые ноги сочно шлепали по полу. Но через год слесарь стал приводить молоденькую прачку и после крупного разговора увез свою гармонию и сундучишко на извозчике. А на смену ему явился наборщик Сеница.

IV

Недели через две после появления нового жильца Уклейкин сказал Матрене:

– Ты не тово... не скандаль уж... Человек хороший, прямо образованный человек... Даже в белье ходит.

– Да уж не в тебя... Тридцать целковых получает. Разве от безобразия твоего съедет... Вежливый человек.

– Ве-жливый... Прямо – душевный.

А через месяц Уклейкин уже сиживал в комнатке жильца, с упоением и верой слушал новые слова и чуял в них смутный отклик тому сумбурному, что бродило и путалось в нем, – недовольству жизнью и безотчетной тоске. Хотелось схватить и понять все, что говорил Синица, и казалось Уклейкину, что он уже схватил и скоро поймет. И что было особенно приятно, так это – новые, никогда раньше не слышанные слова. Эта новизна слов делала речи Синицы важными, заслуживающими доверия и обещающими. От них шла на душу заигрывающая бодрость.

Возвращаясь домой навеселе, Уклейкин с особенной силой разговаривал с фонарями:

– Проникнем! Ка-пи-та-ли-сты!! Про-хвосты!.. Объединим!.. Обретем свое право, черт бы вас побрал!.. В бор-рь-бе!..

Он подымал кулак и грозил.

Плутни и подлости, мелкие утеснения, обсчитывания, надбавки в лавочках и прижимки – все стиралось и умолкало перед тем, что смутно стояло в душе. Доживаются последние дни всего этого. Близится что-то грозное. Так обещал Сеница, человек образованный. И Матрена отходила на дальний план, потому что тогда все переменится.

– Фасону-то не напускай... па-вли-на! – останавливал городской. – Сволоку вот...

– Небось его-то не сволокешь!.. – тыкал Уклеikin в каменный дом. – Все-то вы предались!..

Стесняясь жилья, Матрена ругалась сдержанно, когда Уклеikin вваливался домой. Выглядывал Сеница и ухмылялся.

– Паша!.. друг ситный!.. А? Разве бы меня за границей так?.. Пал Сидорыч!.. Утешитель!.. Скажи ты ей, кто я такой... р-ради бога!.. Паша!..

пьяный... постеснился бы...

– У, необразованность!.. ду-ра!.. Никакого понятия... Ты пойми, кто я такой... Про... про... ле...

Сеница покатывался в дверях, Уклеikin тарасил глаза, а Матрена ругалась.

Было за городом сборище, приезжали говорить. Был на сборище и Уклеikin с наборщиком и вернулся в настроении небывалом.

– И что теперь бу-удет, Матрена!.. Прямо все кверху ногами полетит...

– Сам ноги-то не задери.

– За-де-ри!.. Ду-ра! Жизнь открывается... Уж мы их потрясем!..

– И весь-то с ноготь, а форсишь...

– Сила наша! Вот они где у нас... во-от! – накрывал он одну корявую ладонь другой. – Де-мократия!.. Тебе и не выговорить... И все как Пал Сидорыч...

Когда наступили тревожные дни, Уклеikin ходил в боевом настроении, между надеждой и страхом, и ждал.

– Как мы!.. И что теперь бу-удет!.. Он даже поговорил с околоточным.

– За сапоги-то что ж... Даром, что ль, я буду?..

– Хорошо. Завтра...

– «Завтра» да «завтра»... Мне сейчас позвольте. Теперь не такое время... Я и в суд...

И даже сам содрогнулся.

– Сказал – пришлю!.. И действительно прислал.

– Что?! Видала, как наши орудуют?.. Да уж вгоним в мерку...

И теперь смеялись все трое. Смеялась Матрена, и ее полная, стянутая красной ситцевой кофтой грудь колыхалась, а большие глаза косили и покорно и сторожко оглядывали крепкую, сухощавую фигуру наборщика. Улыбался Синица, скаля белые зубы и нахально окидывая широкие Матренины бедра и грудь. Задорным смехом заливался Уклеikin.

Весть о правах и свободах уничтожила все сомнения.

Уклейкин бросил работу и с утра слонялся по городу, заходил в собор, прошелся в толпе Золотой улицей, подпевал, поругался с городовым и явился домой возбужденный.

– Крышка!.. Матрена!.. Матрена!!

– Ну, чего разорался-то?

– Душа во мне ходит... Не могу я молчать... Жизнь открылась! Все теперь по-другому...

– Уж знаю тебя... не подговаривайся...

– Что?.. Водки, думаешь, чтобы?.. Кончено! Я теперь... Знаешь ты, кто я теперь?.. Гра-жда-нин!.. Ей-богу!..

– Ну-к что ж...

– Ну-к что ж!.. Дурындушка!.. Спроси-ка Пал Сидорыча... Руку мне трясли!

– Ну-к что ж...

– Заладила... Вот возля управы... иду, а студенты стоят... Как обернется один да за руку... Напрямки так вот... Гражданин, говорит!.. Не можешь ты этого внять, чтобы...

Вечером в квартирке было шумно. К Синице пришли двое товарищей, пили водку, толковали и пели. Один играл на гитаре, а Синица запевал боевую песню. Матрена пила пиво, в упор глядела на кудреватого жильца, и глаза ее туманились. Уклейкин раздобыл где-то балалайку и выбивал такие рулады, что даже Матрена передернула плечом и грудью и крикнула:

– Ах, пес, не забыл!..

– Весь пр-рах отрясем! Катай, Пал Сидорыч!

А Пал Сидорыч закручивал ус, трогал Матрену ногами под столом, нажимал коленями и пел боевое, потом «Стрелочка», потом еще что-то забористое.

Девятилетний рыжий Мишутка сидел в сторонке и шурился. Давно бы пора спать, но ему еще не дали поесть, да и давно не было такого веселья.

V

Далеко за полночь Уклеikin лежал под лоскутным одеялом, выставив голые ноги, неподвижно, как покойник, и глядел в потолок, на котором уснули тени от уличного фонаря. Все когда-либо побывавшие в голове обрывки мыслей, все, что его мутило и сосало, теперь все это столкнулось в памяти, точно пришло в последний раз – проститься и уйти, уступить место другому, новому. Это новое шло видимо и осязательно.

«...Первое дело, права всякие... – раздумывал Уклеikin. – Второе дело – будем выбирать... Уж настоящих выберем, не прохвостов каких, а самых настоящих... Потом порядки новые... Налоги все к черту, пусть с богачей берут... Хоть им и неприятно это, а... Пожила кума до масленой, а на масленой и сами поживем... Хорошо бы магазин».

Больше ничего не мог выдумать Уклеikin. Что-то мягкое стлалось и залегало в душе. Чуть-чуть даже жалко было всех этих, кому так ловко жилось недавно и кому теперь скоро будет плохо. Но делать нечего: как кому судьба. Да, но как же все это сладится?... Магазин... да, это хорошо... Только надо...

И ясно пришло в голову, что самое важное надо сделать.
«Поддержаться...»

Это слово он повторил про себя несколько раз, но этого

было мало. Так что же еще-то нужно? Он перебирал в голове все, что там было, и снова пришел к выводу, что нужно «поддержаться». И захотелось ему во что бы то ни стало выполнить решенное им – иначе ничего не изменится, – и он с таким мучительным напряжением пожелал выполнить, что уже не мог спокойно лежать, привстал с постели и глядел в темноту. Но все спали, и не было такого человека, кому можно было бы высказать все. А было так полно и горячо на сердце, что подступало к глазам и жгло.

Возле он чувствовал большое, обжигающее тело Матрены.

– Матрен! а Матрен!.. Уж захрапела...

Но не спала и Матрена. Заложив полные белые руки за голову, она жмурилась, стараясь вызвать в воображении сильные объятия наборщика, все еще ощущая намекающие пожимания колен, снова переживая жгучие чувствования страстных, с другими пережитых, ласк. Она думала, как, когда и где столкнутся они, и знала, что это будет, что если не он, так она сама пойдет к нему и добьется. У него такие позывающие глаза. Он понял ее сегодня, когда она притиснула под столом его колено, и он не отнимал его, а злым, прожигающим взглядом посмотрел ей в глаза, на шею, и, чокаясь, локтем нажал грудь. Она наденет розовую рубаху с открытой грудкой и кружевцами, рубашку дьяконицы, распустит косу и босая пойдет...

И она притворилась, что спит, стараясь затаить клокочу-

щие вздохи нахлынувшей страсти.

– Матрена... Слышь ты!..

Он толкнул ее в грудь, и толкнул больно.

– Ну?.. чего ты?.. Только глаза сомкнула...

– Глаза... Храпишь, как... бревно.

– А тебе завидки?

– За-вид-ки... ду-ра... С тобой как с человеком все равно...

– Наглотался.

– На-гло-тал-ся!.. Дурында... Никакого понятия... Ты слушай... Да не зевай... Даже щелкает... Э, необразованность...

– Образованный! Дрых бы уж лучше... пьяница!..

Ему стало обидно.

– Тише ори-то, дурища!.. Пьяница... Пал Сидорыч вон прямо душевный человек – и то пьет... Тебе бы сресался всё. И выпить уж нельзя. Теперь вон все самые образованные люди – пьяницы. Поори еще!.. Толкану вот – вылетишь!..

– Навязался, черт лысый... Уж лучше бы за будочника пошла... По ночам спать не дает...

– Э-э-э... не да-ет... Мужчина я потому... Во мне кровь ходит... Слушай! Да слушай ты... Чего ревешь-то? Со злости ревешь-то!.. Да слу-шай...

Он осторожно толкнул ее в бок.

– Кулашник, леший!..

– Да ведь легонько я... Слу-ушай... Вот тебе сказ... Да

слушай! Да не реви ты... Пал Сидорыч слышит...

– Все пущай слышат, как ты, шильный черт... В гроб вгонишь...

– Тебя вго-онишь...

– Уж лучше бы на бульвар ходила...

Что-то глухо хлопнуло в темноте.

– В-вот тебе! в-вот тебе «на бульвар»...

Еще что-то хлопнуло и загромыхало. В соседней комнатке ноги уперлись в переборку и вялый голос спросил:

– Чего там?

Тишина.

– Услыхал... Э, дура! С тобой пошутил, а ты в рыло. Ведь люблю... Подь-ка сюда... да ну, что ль... Чтоб только человека обижать... Ну, слушай... Матреш!.. Курочка ты моя...

– Слышу! – злым шепотом отозвалась Матрена, в которой сонный голос жильца вновь разбудил жгучий порыв.

– Слушай... Водчонки – ни-ни! И не покупай... Крышка! Поддержать себя надо. И вот те крест... ежели хочь каплю, хочь... Вот тебе!.. Зарок дал... Чтоб все по-другому... Долги сберем, книжку заведем... Как лишнее – на книжку... Магазин, может, откроем...

– Еще что?..

– Уж ты не шипи... Уж я... Ты только не зыкай на меня... не зыкай... а по-любовному... – шептал Уклеikin, чувствуя умягчение на душе.

Он коснулся заскоруждыми пальцами мягкого округлого

плеча Матрены, и это прикосновение к голому, пухлому телу вызвало в памяти красивый, когда-то манивший образ. И проснулось почти забытое желание, пропитое, истасканное. Но голое плечо выскользнуло, и его пальцы попали между рукой и грудью. Тогда он потянул Матрену.

– Не трожь!..

Резким движением она вывернулась из его рук и задела локтем по носу. Но он не обиделся.

– Матреша... Ну, ежели мы в законе... Матреш... Канареечка ты моя...

– Не трожь, говорю!..

– Рыбочка ты моя... Ну, ну... С тобой как... с супругой говорю, а ты...

Матрена ответила тяжелым вздохом. За переборкой завозился жилец.

VI

Незаметно выходили из души Уклейкина тоска и озлобление, все то, что темнило жизнь и делало ее проклятушей, от чего он порой хотел убежать куда-нибудь, рвался раскатать всех, наплевать на всех, доказать что-то всем; тоска, которую он душил водкой. Рвался, а кругом неизвестные петли сторожили и путали, и он снова, как замученная муха, опускался в тупое созерцание тоски. Он даже на небо никогда не глядел. Звезды, когда-то обещавшие его просительному взору заманчивый, далекий и неизвестный мир и навевавшие примиряющую грусть, уже давно были только светящимися точками, — неизвестно для чего. Даже солнце — и то только легло пыльный переулочек и сушило рваные рубахи во дворе на веревках.

Но теперь тоска уходила, и жизнь начинала манить будущим, которое еще таится, но уже идет — и придет, и принесет что-то хорошее. И рождалось трепетное и позывающее ожидание.

Даже люди, угнетавшие и еще недавно вызывавшие злобу, стали казаться «ничего себе». Матрена еще не все поняла. Но когда уверится, что все устроится, что, может быть, будет и магазин и заведет салон, тогда-то уж не будет фырчать и отделиваться, как теперь, и будет считать его человеком стоящим.

А приходской поп отец Каллистрат! Прямо жох был, сквалыга: только подай гривенник, когда с крестом ходит, прямо волком глянет, и за венчание — этого не забудешь — десять рублей содрал. А теперь совсем другой человек. И голос приятный, и кроткое сияние в глазах. А говорить-то как стал! Бывало, в нос все больше, — и не разберешь, что вычитывает.

А вот в воскресенье так все явственно вышло.

Говорил о терпении и ожидании. Говорил о сосудах, что еще недавно были с водой.

— Вы — сосуды, — говорил отец Каллистрат, — и вода была в вас... Но пришел час, и вот в вас вино.

Было понятно, и Уклеikin в середине проповеди принял-ся усиленно креститься. Говорил и о мехах. Надо новые меха. Это было тоже понятно: ясно, намекал на новое. А оно близится.

Уже заворошились богачи. Пришла телеграмма, что у дворянского производителя мужики весь хлеб на тысяче телег увезли. Говорят, посланы власти, но они передадутся, как мекали в чайной. Городской голова шибко опасается и с рыбником Силиным и шорником Огарковым приманивает «котье» и раздает полтиннички. Уже была схватка у заставы, и еремеевские пекаря-молодцы в пух разнесли черную сотню.

Но что самое важное — составляют списки, кто будет выбирать. Это сообщил Синица. Радостное стлалось в душе, и Уклеikin пытался удержать его в себе и боялся, что вдруг придет кто-нибудь и вырвет это радостное.

Когда, по утрам, Матрена толкала его в бок: «Чего дрыхнешь-то... Чай, шесть било...» – Уклейкин уже не огрызался, как раньше: «Залаяла!..» – а жмурил глаза на тусклое окно, за которым всплывал бледный рассвет, нащупывал в памяти следы праздничного, с чем уснул накануне, вспоминал и бодро шел умываться к лохани.

За чаем, когда выпученные глаза неподвижно глядели в помятый самовар, рот Уклейкина расплывался в улыбку.

– Сахар-то почему брала?

– По шешнадцать, чай... сам знаешь.

– По гривеннику будет.

– Э, плетет... И не бывало никогда...

– Вот те и не бывало... А то и по восемь... Все сделать могут. Намедни пристав под самый под нос кулачище сует, как нащел прибавки... Ну, а теперь сам понюхай.

Как-то, уходя на работу, Сеница сказал:

– А тебя, брат, в список-то не внесут...

– Как так не внесут? Это-то почему? Все ведь...

– То-то, что не все. Прав не выбираешь?

– Ну-к что ж... Одиночка я потому... Уж эт-то сделай милость...

Он отшвырнул сапог и поднялся с липки.

– Ты на хозяина работаешь и – будешь, а я сам хозяин – и нет?.. Эт-то почему?..

Словно его обманули.

– И в чайной объясняли, что обязательно...

– Мало что объясняли!

– Ну, это я узнаю...

Было неприятно. Сознание, что он будет выбирать, хотя и не меняло ничего, но теплилось в душе согревающей искоркой. Раз он будет выбирать, значит – он где-то на учете, а раз это так, то... Но что это «то» – Уклейкин не разбирался и успокаивался на безотчетной надежде. А теперь вдруг...

– Ну, это я узнаю.

VII

Вечером он осторожно позвонил у крыльца знакомого заказчика, помощника бухгалтера земской управы, которому недавно шил болотные сапоги.

...Очень хороший и понимающий человек.

Дверь отворил кто-то в белой рубахе.

– Кого еще черт несет?..

Голос был сиплый и не совсем твердый, и Уклеikin понял, что человек в белой рубахе пьян.

– Так что тут господин Швырков живут... Сапоги им шил... так вот...

Вышло так, как будто он пришел за деньгами.

– А, чо... Сашка! Черт какой-то к тебе!..

– Так что... я Уклеikin-с... сапожник...

– А ну тебя! Лезь!..

И человек в белой рубахе увесистым толчком выкинул его в прихожую.

В комнате были гости. Стоял шум. Пахло водкой. Стлались полосы дыма. Под ногами валялись шапки и калоши.

– Кто еще?..

Уклеikin узнал не совсем твердый голос заказчика, вытянул включенную голову из передней и несколько раз поклонился, не переступая порога.

– Я-с... к вашей милости... Уклеikin-с...

– А-а... «Шкалики»!.. Сама «шпана»!..

– Прро-рро-ку Иезекиилу почет!! – гаркнул человек в белой рубаше, в котором при свете Уклейкин признал фельдшера земской больницы Клюковкина.

Лица гостей улыбались, разевались рты, подмигивали глаза. Иголообразная фигура сапожника была всем хорошо знакома.

– Пер-рвого приходи... Не при деньгах!..

«Так и знал... за деньгами – подумает», – укорил себя Уклейкин.

– Пер-рвого!.. Романс без слов... Ясно? – крикнул фельдшер. – Ну и...

– Так что я... Никак нет... не за деньгами... – просительно и точно оправдываясь, сказал Уклейкин. – Я потому самому, што...

Он мялся в передней и вертел смятый картуз. А глаза уже разглядели бутылки на столе, управского писца с гитарой, лохматого фельдшера, задравшего ноги на стол и дымившего трубочкой; хозяина, сидевшего без жилета на диване, под зеркалом, и еще троих, ругавшихся за картами.

– Что «што»?.. Наскандалил, что ль?..

– Натур-рально в голубом!.. Ну? – кричал фельдшер. – Водки ему!.. Р-романс без слов!..

– Ни боже мой... помилте-с... – бормотал Уклейкин, нерешительно переступая порог. – У меня... извольте видеть... так что вот какое дело... гм... Дело оно, можно так,

ежели аккуратно говорить... гм... гм...

«Говорить иль нет?» – спросил он себя, понимая, что попал не ко времени.

– Шипится, черт его... Излагай!.. Какого еще тебе черта надо? – восклицал фельдшер, настраивая гитару. – Тр-рам-тр-рам... там-там... «Теб-бе од-дно-ой... все чистые ж-жел-ла-анья!..»

– Да не ори!.. Васька!.. Ну, так чего же тебе надо?..

– Про себя так что... хотел узнать... как я...

– «Л-лю-б-бовь... мечты-ы... всей ж-жиз-ни м-мо-о-л-ло-до-ой... Всю мо-ло-до-сть...»

– Да не ори же, чер-рт!.. Труба... Так чего же тебе нужно?

Но тут у игравших начался спор.

– «С бубны – с бубны»!.. А ходишь с черта?.. Си-ву-ха!

Говорил, подкозырнуть!.. Ка-ло-ша!..

– Подкозырнуть!.. А с чего я подкозырну?.. Валет чтоб пропал?.. На одной руке-то, ба-бу-шка... Он сейчас режет... Ну?..

– Ей-богу бы, нипочем не прорезал!.. Ну, сдавай...

– Во-ро-на! Без двух бы сидел!.. Сдавай, что ль... Уклейкин выбрал момент, когда все стихло, и сказал вкрадчиво:

– А вот будут выбирать...

– Н-ну?..

Теперь уже все смотрели на него. А он, изгибаясь и делая серьезное лицо, мямлил картуз и говорил вкрадчиво:

– Вы, конечно, как вам все известно... справиться бы мне

надо... Что, меня запишут, чтобы выбирать?..

– Что-о?.. Ах, шут... Ан-некдот!.. Пр-рямо в члены!..

Фельдшер закатился. Игравшие сдали и подошли. И всем стало весело.

– Ха-ха-ха... Вы-би-рать?.. Выбирать хочешь?.. Ха-ха-ха... А-не-кдот!.. Хо-чешь?..

– Да ведь... как сказать... Антересуюсь я, конечно...

– Ха-ха-ха... Ай, шут его дери!.. Водки ему!..

– Постой!.. Васька!.. Да дай, леший, сказать... По-го-ди...
Ежели ты имеешь право... Да не лезь, Васька!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.